

АЛЕКСЕЕВ М. П.

## РУССКИЙ ЯЗЫК В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ ОБИХОДЕ \*

## 3

В этом общем, по необходимости беглом очерке развития и изучения русского языка в Западной Европе до начала XVIII в. наше внимание обращает на себя одна, чрезвычайно характерная особенность. По мере того как русский язык становился языком слагающейся русской нации, выразителем самобытной русской культуры, он все сильнее интересовал иностранцев не только как средство делового общения с русским населением, но именно как язык этой культуры, как ключ к раскрытию ее ценностей. Это не может не бросаться в глаза.

С середины XVI в. идет ряд непрерывно умножающихся попыток систематического ознакомления с московской письменностью в целях лучшего познания русского государства, его исторических, этнографических, правовых особенностей, нравов и быта. Уже С. Герберштейн, автор «Записок о московитских делах», одной из наиболее примечательных книг о России, изданных в XVI в., изучал Московское государство не только как путешественник-очевидец, но и по письменным источникам. В его книге впервые опубликованы были части русской летописи и замечательных памятников древнерусской письменности XI—XII вв. (например, отрывки из Правил митрополита Иоанна XI в. и из Вопросания черноризца Кирика XII в.); он цитировал фрагменты из церковного устава кн. Владимира и некоторые статьи из Судебника Иоанна III; оригинал последнего, как известно, стал доступен изучению только в начале XIX в.; наконец, в Записках Герберштейна помещен был также перевод русского Дорожника XV в., оригинал которого до нас не дошел. Вслед за Герберштейном многие другие западноевропейские писатели стали интересоваться памятниками письменности — летописями и другими источниками: памятниками русского законодательства, церковно-юридическими памятниками, географическими и этнографическими сочинениями. О знакомстве с русскими летописями с большим или меньшим правом говорят почти все, писавшие о России на иностранных языках в XVI и XVII вв. Столетие спустя после того как Герберштейн перевел Судебник Иоанна III, Мейерберг издал латинский перевод Уложения Алексея Михайловича [50]. Особенно многочисленны были переводы русских географических сочинений. Помимо Дорожника, опубликованного Герберштейном, можно указать здесь на выполненный еще в 1558 г. Ричардом Джонсоном английский перевод небольшого русского географического сочинения XV в. «О человецех незнаемых в восточной стране и о языцех разных», напечатанный в Лондоне в 1598 г., вместе с рядом других статей географического содержания, «переведенных слово в слово с русского языка». В 1625 г. в Лондоне издана была и целая серия других переводов русских географических сочинений, в том числе перевод так называемой «Реляции сибирского казака Ивана Петлина в Монголию и Китай в 1618 г. по одному из лучших списков», и эту реляцию, как известно, по достоинству оценил и цитировал Джон Мильтон [51]. К концу XVII столетия количество аналогичных переводов с русского языка было уже чрезвычайно велико: достаточно напомнить здесь амстердамского бургомистра Николая Витсена, напечатавшего в 1692 г. по-голландски в своей некогда знаменитой

\* Окончание. Начало статьи см. в ВЯ, 1984, № 2.

книге о «Северной и Восточной Татарии» многочисленные переводы с русского языка и письма к нему доброго десятка русских корреспондентов [52]. Русский вклад в западную географическую науку и, частично, в историческую науку в XVII в. был поистине неопеним: русские географические и этнографические сочинения XV—XVIII вв., записи рассказов бывалых русских людей и отважных мореходов открыли западным географам не только новые обширные земли, дотоле им вовсе неизвестные, но и поставили перед ними новые научные проблемы, подсказывая их правильное решение. Без русских источников и материалов обойтись уже было нельзя — изучение русского языка было необходимостью для ученых разных специальностей: иные в древнерусских рукописях искали утраченные на Западе памятники античной культуры [53], другие с помощью истории русского языка искали разгадку проблем о родстве и различии, многообразии и распространении (Лейбниц) языков, третьи с помощью русского языка изучали строение Земли, ее физические свойства, ее животный и растительный мир и т. д. Иные, наконец, изучали русского человека как участника мировой жизни, во всем своеобразии его духовной культуры и быта, в памятниках его письменности, его словесного искусства. В этом смысле очень характерно, что в XVII веке обнаружился интерес западноевропейцев и к русскому народному творчеству (вспомним записи шести великорусских песен, сделанных для Ричарда Джеймса в 1618 г., многочисленные книги, вывезенные в западноевропейские страны в XVII в. из России и сохранившиеся в различных книгохранилищах Европы, — среди них древнерусские повести, хронографы, азбуковники, памятники отреченной письменности и т. д. Не менее показателен отмеченный выше интерес и к современной русской художественной литературе, в частности, к виршевой поэзии, вызывавшей даже охоту к подражанию. Неудивительно поэтому, что и крупнейшие западноевропейские писатели XVI—XVII вв. не могли не удержать в своем творчестве первые следы ознакомления с русской культурой, ставшего возможным благодаря повсеместно распространявшемуся изучению русского языка. Из множества относящихся сюда и еще недостаточно изученных примеров укажу лишь на два из них, представляющих мне примечательными во всех отношениях. В конце XVI в. виднейший представитель французского Возрождения Монтень в книгу своих «Опытов» включил несколько эпизодов из русской истории (в частности, историю Ярополка): эти исторические рассказы могли стать ему известными только потому, что в различных исторических компиляциях этого времени появились извлечения из русских (и польско-латинских их переработок) летописей [54]. В середине XVII в. великий поэт буржуазной революции Джон Мильтон мог включить в своей «Потерянный рай» несколько живописных описаний Сибири и Китая только потому, что перед ним были переводы русских географических сочинений, которые он сам некогда обработал в своей «Краткой истории Московии»<sup>8</sup>.

Таким образом, изучение русского языка в Западной Европе вызывалось не простой любознательностью. Смешные попытки ганзейцев в начале XV в. «воспретить» изучение русского языка своим торговым конкурентам были возможны только в ту пору, когда недогадливые купцы не подозревали еще о существовании русской культуры или попросту не интересовались ею: впрочем, и тогда эти запрещения, как мы видели, не могли иметь никаких результатов. Но с середины XVII в. отчетливо прослеживается интерес к русскому языку как к языку, открывавшему западноевропейцам широкие культурно-исторические перспективы.

Эта тенденция была всецело завещана XVIII веку, просветительскому веку западноевропейской истории, значительно углубившему и расширившему ее. В самом деле, история усвоения русского языка в XVIII в. на европейском Западе, в частности во Франции, могла бы составить тему самостоятельного и очень обширного исследования. Знакомство с русским языком за рубежом в этом веке расширилось необычайно. Книжная и

<sup>8</sup> См. выше [51].

журнальная литература в России, появившаяся после петровских реформ, буквально испещрена замечаниями о русском языке, его свойствах, особенностях и звучании. Через посредство этих сочинений отдельные русские слова хлынули за рубеж гораздо более широким потоком, а оценка русского языка и, в частности, его приспособленности к тому, чтобы служить орудием научной мысли и словесного искусства, становилась все более устойчивой по мере того, как стабилизировалась русская научная терминология и совершенствовались стили русской литературной речи.

Известно, что Франция в XVIII в. уделила России достаточно глубокое внимание. Интерес к России и ко всему русскому проявляли в то время не только отдельные философы и писатели, связанные с русским двором или дипломатами, но и довольно широкие круги дворянско-буржуазной интеллигенции. Военная мощь «Северной Империи», огромная фигура Петра I, русская политика, наука, современная литература, русские нравы служили предметом не только достаточно живого внимания общественного мнения и текущей прессы, но и предметом специальных исследований и откликов в художественной литературе. Можно напомнить здесь об исторических трудах Монтескье и Вольтера, «Петриду» Тома, драмы Доре («Петр Великий») и Лагарпа («Меньшиков»); однако вопрос о значении «русской темы» во французской художественной литературе входит как часть в более общую тему о России в интеллектуальной жизни Франции XVIII в. [55]; особой главой в таком обширном исследовании могла бы стать и история русского языка во Франции. В ту пору, когда наряду с подлинными переводами с русского во Франции множились «псевдопереводы», когда французские писатели избирали себе «русские» псевдонимы (как, например, Кармонтель, называвший себя в печати «русским князем Кленерцовым»), когда в Париже в ходу был термин «russoric», обозначающий склонность ко всему, идущему из России, русский язык, естественно, также должен был быть в ходу. Русские слова и фразы, не говоря уже о собственных именах и географических названиях, действительно попадают в большом количестве французских печатных источников; попадают они и в художественной литературе, порой совершенно неожиданно (есть они, например, в популярном романе о кавалере Фоблазе Луве де Кувре, где упоминается о восстании Пугачева, а финалом служит история раздела Польши); есть они в сочинениях философов и энциклопедистов — у Ренала, Д'Аламбера, Мармонтеля, Мабли и у многих других. Из крупных французских писателей в России побывали, как известно, двое: Бернарден де Сен-Пьер и Дидро; в сочинениях первого из них русский язык особых следов не оставил, хотя писатель должен был несколько ознакомиться с ним практически; напротив, Дидро, один из наиболее передовых буржуазных деятелей предреволюционной Франции, проявил к нему значительный интерес и, живя в Петербурге около пяти месяцев (1773—1774), упорно ему учился.

Сравнительно недавно (в 1932 г.) библиотекарь Парижской национальной библиотеки Ж. Порше нашел и опубликовал чрезвычайно интересный перечень книг на русском языке, вывезенных Дидро из России и затем (в 1775 г.) проданных им этой библиотеке. Отыскалась затем и значительная часть самих этих книг [56, 57]. Даже простой перечень этих книг представляет немалый интерес: это хорошо и тщательно составленный подбор сочинений по русскому языку, литературе, истории, праву, государственному делу и т. д. Это — не только коллекция иноязычных образцов: это собрание, подчиненное тому плану серьезного и вдумчивого изучения русской культуры, которое Дидро составил себе, живя в Петербурге. Уже то, что Дидро сумел сделать толковую опись этих русских книг, свидетельствует, что он знал их содержание, мог прочесть и перевести их заглавия (хотя и не всегда точно). Еще более важно то (и об этом свидетельствуют сами книги), что приобретая их в Петербурге или получая их в подарок от друзей, он несомненно читал некоторые из них в русских подлинниках. Если в момент своего прибытия в Россию Дидро, по собственному признанию, не знал еще ни слова по-русски, то живя здесь, он делает попытки изучить русский язык и в процессе этого изуче-

ния знакомится с русскими книгами, до сих пор хранящими на своих полях его пометы, переводы отдельных слов и прочие следы работы над ними.

Список книг, составленный Дидро, недаром открывается отделом «Грамматики», своего рода «ключом» ко всему собранию: это был практически ценный подбор пособий для основательного изучения русского языка и письма, коллекция изданий, заключающая в себе едва ли не лучшее из того, что для подобной цели могло быть собрано иностранцами в начале 70-х годов XVIII в. Мы находим здесь какую-то русскую азбуку и прописи, далее — знаменитый учебник русского языка для французов Шарпантье, изданный в Петербурге в 1768 г. и сохранивший свое практическое значение до конца XVIII в. [58]<sup>9</sup>; далее в списке Дидро названы также: первый печатный (и очень объемистый — свыше двух тысяч страниц) французско-русский словарь 1764 г., или «Новый вояжиров лексикон» (как называлась его вторая часть) Сергея Волчкова [60, с. 326—327], учебник французского языка для русских «с приложением реестра по алфавиту русских слов» [61]<sup>10</sup> и, наконец, новейший, вышедший в Петербурге в момент пребывания там Дидро «Опыт нового российского правописания...» Василия Светова [63], на обложке которого Дидро написал: «Essai sur l'orthographe»; здесь же находится, наконец, и «Российская грамматика» Ломоносова в издании 1755 г.

Учебник Шарпантье носит на себе следы серьезной работы над ним Дидро. На полях этой книги пометы его рукой, карандашом и чернилами, особенно в конце, где приводятся образцы разговоров. Следы чтения русских книг имеются на принадлежавшем ему экземпляре комедии Сумарокова «Ядовитый» (СПб., 1768) и в особенности на экземпляре трагедии того же Сумарокова «Хорев» (СПб., 1768). Из других данных видно, что, имея под рукой русские книги, Дидро вчитывался в русский текст, искал наилучшего перевода для отдельных русских слов: так, в передаче заглавия в комедии Екатерины II «Госпожа Вестникова с семьею» Дидро перевел на французский язык также и фамилию героини пьесы, конечно, с умыслом и вполне оправданным «*La femme Nouvelliste avec sa famille*», а на обороте другой комедии того же автора, «Именины г-жи Ворчалкиной», сделал то же, добиваясь наибольшей точности передачи — «*La femme boudeuse, ou la grondeuse*»: значение французского слова «*boudeuse*» (недовольная, надувшаяся) отстоит гораздо дальше от соответствующего русского слова, положенного в основу фамилии Ворчалкиной, чем найденное им, в конце концов, более точное слово: «*grondeuse*».

Все эти факты являются примечательными, в особенности если мы сравним с ним довольно безразличное отношение к русскому языку хотя бы Вольтера. Для Вольтера и для многих французских писателей его времени проблема своеобразия иноземной речи не являлась сколько-нибудь существенной для оценки всякого иностранного, в том числе и русского, произведения художественного слова; им было достаточно и того, что в переводах произведения русских писателей могли представлять для них общий интерес; они не нуждались в оригиналах и лишь в редких случаях допускали некоторую возможную неполноту восприятия оригинала через посредство переведенного текста. Корни такого заблуждения — в нормативном характере эстетики французского классицизма и в убеждении французских ценителей литературы относительно богатства оттенков французской речи. Дидро противостоял Вольтеру и в этом отношении — и эстетикой, материалистической в своей основе, и тонкой и своеобразной теорией языка, для которой и его занятия над книгами русских писателей могли иметь значение<sup>11</sup>.

Если история занятий русским языком Дидро и не может быть названа типичной для французских просветителей XVIII в., то она не может быть также названа и случайной, единственной в своем роде; именно французский XVIII век знает ряд примеров живого действительного интереса

<sup>9</sup> См. об этой книге [59].

<sup>10</sup> См. [62; 60, с. 351].

<sup>11</sup> Вопросы языкознания в постановке и решении Дидро вовсе не изучены, что констатируют и зарубежные исследователи, например, [64].

к русской литературе (от двукратного издания «Сатир» А. Кантемира во французском переводе абб. Гваско 1749—1750 гг. до стихотворных подражаний Антуана Лемьера произведениям Ломоносова), к русской науке, к русской философской мысли; вне этого интереса не стоял в то время ни один сколько-нибудь значительный французский писатель. И это не могло быть иначе, в пору, когда успехи русского народа в дальнейшем развитии своей национальной культуры вызывали всеобщее удивление, когда и на литературном и на театральном поприщах, и во всех областях искусства, научной мысли и технического изобретательства русский народ мог выдвинуть таких деятелей, творчество которых представляло безусловно международный интерес: достаточно вспомнить такого гиганта, каким был Ломоносов. Тем самым повышалось и международное значение русского языка.

Известная патриотическая характеристика русского языка, данная Ломоносовым в предисловии к его «Российской грамматике», основана была, прежде всего, на его естественных теоретико-лингвистических сопоставлениях и на живом, эмоциональном восприятии русской речи. Русские писатели конца XVIII и начала XIX в. могли уже опираться в своей характеристике русского языка на весьма сочувственные отзывы о нем иностранцев. Державин в своем «Рассуждении о лирической поэзии» писал: «...славяно-российский язык, по свидетельству самих иностранных эстетиков, не уступает ни в мужестве латинскому, ни в плавности греческому, превосходя все европейские: итальянский, французский и испанский, колыми паче немецкий, хотя некоторые из новейших их писателей и в сладкозвучии нарочитые успехи показали» (Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. 7. Сочинения в прозе. СПб., 1872, с. 596). Упоминая иностранных эстетиков, Державин имел в виду прежде всего Гердера, на которого он и делает ссылку в своем трактате. Но подобные суждения, действительно, попадались в иностранных сочинениях XVIII в. Сошлюсь хотя бы на французского писателя Антуана Леонара Тома (1732—1785), восторженного ценителя Ломоносова, который в своем «Опыте о похвальных словах» заметил, что «русский язык, после итальянского, самый нежный язык в Европе», отдавая в то же время должное «гибкому и легкому уму русских» и предсказывая «искусствам» в России большое будущее [65]. О «нежности» русского языка, противопоставляя его немецкому, в 1788 г. говорил англичанин А. Суинтон: «Уши мои, — признавался он, — никогда не выносили немецкого, в то же время примирились с нежностью русского языка» (the softness of the Russian language) [66]. Немецкий писатель Иоганн Готфрид Зейме в 1797 г., в свою очередь, писал: «Может быть, некоторые читатели посмеются, когда они услышат о грации русского языка. Автор этих строк, который не вовсе чужд изучению древних и новых языков, может их, однако, уверить, что после греческого он не знает никакого другого языка, кроме русского, который имел бы больше точности и звуковой привлекательности» (sonorischen Wohllaut) [67]. На страницах «Гёттингенских ученых известий» в XVIII в. специально освещался вопрос о достоинствах славянских языков и о «нежности» и «мягкости» русского в сравнении с немецким и французским и возник даже спор о преимуществах русского и польского: нашли защитники как одного, так и другого языка [68]. В 80-х гг. XVIII в. Иоганн-Христиан Шваб доказывал, что придет время, когда славянские языки и, в первую очередь, русский, получат такое же значение, как язык французский [69]. Наконец, Л. Вахлер в своем известном «Руководстве к всеобщей истории литературной культуры» («Handbuch der allgemeinen Geschichte der litterarischen Cultur», Marburg, 1804—1805) на пороге нового века утверждал, что русский язык «богат, энергичен и мелодичен, очень картинен и способен к свободной гениальной обработке» (т. II, с. 863), и тут же высказывал следующее убеждение: «Политический вес России, связанный с мощным стремлением нации к высшей культуре, дает основание предполагать, что в следующем столетии столько же преподавателей русского языка будут находить применение своему труду, сколько сейчас французских» (т. II, с. 863) [70].

Вопрос, таким образом, заключается теперь не только в эстетическом восприятии русского языка непривычным к нему ухом — близко узнававшие его люди, отрешаясь от привычных речевых навыков, могли находить его красивым; дело шло, прежде всего, о приспособленности его к передаче мысли, о его средствах создавать произведения искусства. В признании за русским языком эстетических, музыкальных свойств, благозвучия, красоты звучания было, разумеется, больше устойчивости, чем прежде, ибо и произведения словесного искусства, поэзии, художественной литературы, средством которых он служил, — непрерывно совершенствовались: язык Сумарокова, который изучал Дидро, и язык Державина в особенности язык Пушкина, над произведениями которых трудились французские переводчики XIX в., представляли собою качественно стилистические различия, в том числе и в звуковом, собственно музыкальном смысле. Тем не менее, именно в этом отношении нельзя наметить некоей общей единой линии восприятия иностранцами русского языка. В этом восприятии не могло быть единства, хотя бы потому, что знакомство с языком периодически обновлялось от поколения к поколению, и это восприятие могло быть различным даже в хронологических пределах одного и того же поколения. А. Тома, как мы видели, считал русский язык самым нежным в Европе после итальянского; современник Тома, Ж. Ж. Руссо, напротив, оставил отрицательный отзыв о русском языке, которого он не знал, а Казанова, цитирующий этот отзыв в своих мемуарах, прибавил к нему и несколько собственных язвительных замечаний. Англичанину Суинтону русский язык показался и нежным и красивым, а поколением спустя его соотечественники, показывавшие в Оксфорде заезжему русскому путешественнику старые русские рукописи, по словам этого путешественника (Д. П. Северина), «с презрением слушали незнакомые для них звуки», когда он прочел им вслух несколько строк из лежавшего перед ним текста. И Байрон, подобно Вольтеру, высмеял в «Дон Жуане» казавшиеся ему смешными русские фамилии, оканчивающиеся на «ипкин», «ушкин», «оффски» и «уски», что не помешало ему оценить поэзию «русского соловья» Жуковского, когда он прочел его стихотворение в довольно посредственном английском переводе. В письме от 15 июля 1844 г. к Э. Мещерскому по поводу его драматической сцены «Артамон Матвеев», написанной на французском языке, А. де Виньи писал: «Самому Тальме не удалось бы заставить выслушивать терпеливо и с серьезным видом такие слова, как Sviatoslaf, Iaroslaf, Monomakh, Mstislaf или названия местностей: Iakoutsk потом Jénisséisk, Nertchinsk на юге, Irkoutsk на севере. Не пытайтесь делать этого в более крупном произведении, поверьте мне» [71—72]. Не может быть ничего оскорбительного для национального достоинства и в то же время для действительной красоты русского языка, что восприятие его разными людьми, представителями разных народностей и разных культурных слоев оказывалось переменной величиной: много очень интересных наблюдений по этому поводу оставил нам Тургенев, и эти наблюдения подтверждают, что его разнообразные и сложные эксперименты по изучению тех впечатлений, какие производил русский язык на иностранцев, приводили к самым неожиданным результатам. Теккерей, например, слушавшему в декламации Тургенева одно из самых музыкальных стихотворений Пушкина, «звуки русского языка» показались смешными, а в «Вешних водах» описан другой, вполне удавшийся опыт: Санина просят спеть что-нибудь на его родном языке. Он поет «Сарафан», «По улице мостовой». «Дамы похвалили его голос и музыку, но более восхищались мягкостью и звучностью русского языка... Затем Санин «сперва продекламировал, потом перевел, потом спел пушкинское „Я помню чудное мгновенье“, положенное на музыку Глинкой... Тут дамы пришли в восторг...» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 12-ти т. 2-е изд. М., т. 8, с. 265).

Можно было бы привести еще сколько угодно примеров жадного любопытства иностранцев к з в у ч а щ е й русской речи, их любования ею, их предположений и предвидений относительно ее будущей судьбы, чрезвычайной пригодности ее для музыки и поэзии. Напомню хотя бы выска-

звания м-м де Сталь; стихотворение Мёрике «Машенька» (1838), посвященное русской девушке на чужбине, из уст которой он впервые услышал непонятную для него, но «сладко-лепечущую» русскую речь. Все это эстетическое любование и все эти предвидения не создавали еще массового увлечения; изучением русского языка. Любителей русского языка было не мало, но они в первой половине XIX в. оставались еще одиночками. Для того, чтобы такое изучение могло захватить более широкие общественные круги, необходимо было еще более широкое и блестящее развитие передовой русской литературы. Это и случилось, действительно, в XIX в.

4

Карамзин, рассказывая в «Письмах русского путешественника» о своих знакомствах с зарубежными писателями, упомянул, между прочим, о беседе своей с немецким писателем Морицом: «Он спрашивал меня о нашем языке, о нашей литературе. Я должен был прочесть ему несколько стихов разной меры, которых гармония казалась ему довольно приятною. „Может быть, придет такое время, — сказал он, — в которое мы будем учиться и русскому языку; но для этого надобно вам написать что-нибудь превосходное“» (Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Повести. М., 1980, с. 82). Аналогичные оправдания иностранцев в незнании русского языка еще нередки в начале XIX в.: даже интересующиеся им люди ссылаются в то время на трудность его изучения, на отсутствие мощных импульсов, которые заставили бы их победить все действительные или мнимые затруднения по овладению этим языком. Но к середине XIX в., когда русская литература дала уже Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, посредничество переводчиков казалось недостаточным: в различных странах и притом независимо от количества и качества существовавших переводов необходимость непосредственного обращения к подлинникам становилась все более и более ощутительной.

На первых порах, когда имевшиеся переводы с русского языка перестали удовлетворять непрерывно возрастающий на них спрос, существовала даже своеобразная рукописная литература переводов с русского. Интерес ее заключается не только в том, что в качестве переводчиков выступали во многих случаях видные литераторы, остро и тонко чувствовавшие художественные качества тех произведений, которые они пытались передать на иностранном языке; они интересны также и потому, что сделаны были для видных представителей зарубежных литератур, нередко по их просьбе. Известны превосходные переводы русских народных песен на французский язык, сделанные Пушкиным; произведения самого Пушкина переводили для Ламартина А. И. Тургенев, для Шатобриана — П. А. Вяземский, для Томаса Мура — тот же Тургенев. Эти дословные переводы сопровождались иногда пояснениями лингвистического характера, общими замечаниями о русском языке и его специфических особенностях. Очень интересен, например, опыт ознакомления с русским языком Гете, предпринятый В. К. Кюхельбекером непосредственно после посещения им великого немецкого писателя в Веймаре в ноябре 1820 года. За несколько лет перед тем Жуковский перевел «Арфиста» Гете, увлеченного им из «Годов учения Вильгельма Мейстера». По просьбе Гете Кюхельбекер сделал обратный дословный немецкий перевод этого стихотворения и послал Гете с сопровождающим его русским текстом и пояснениями лингвистического и стилистического характера. На другом листке Кюхельбекер переслал Гете также свое стихотворение «К Промефею» с собственным же дословным переводом на немецкий язык. В письме Кюхельбекера к Гете, написанном по этому поводу, есть любопытная приписка: адрес «того из дрезденских переводчиков, о котором я имел честь упоминать» [73] <sup>12</sup>. Едва ли может быть сомнение в том, что речь шла о некоем постоянном переводчике с русского языка, о котором Гете осведомлялся у своего заезжего гостя, — Кюхельбекера.

<sup>12</sup> Здесь же воспроизведены и переводы Кюхельбекера по рукописи, хранящейся в Гете-Шиллеровском архиве в Веймаре.

Подобные попытки способствовали популяризации русского языка среди западноевропейских писателей, усвоению его отдельных слов, удерживавшихся в памяти, пониманию всего своеобразия русской устной и письменной речи. Известно, как много сделал в этом отношении Тургенев среди писателей Франции, Германии, Англии, даже Испании и Италии — своими «устными» переводами из русских писателей, не подвергавшимися даже письменной фиксации, своими беседами о русском языке, своими декламациями русских поэтов в русских подданных. Именно таким путем в памяти Флобера удержалось русское слово «телега» («télègue»), которое он сам употребил в одном из своих писем к Тургеневу [74, 75].

Обилие русских путешественников за границей, хорошо владевших иностранными языками, сыграло в том же отношении немалую роль; многие из этих путешественников в первой половине XIX в., даже независимо от своего образования или литературных склонностей, стихийно превращались в переводчиков-любителей, истолкователей русской литературы, преподавателей русского языка. Достаточно вспомнить здесь хотя бы роль русских гостей в парижских салонах 20-х годов, немецкий кружок Н. А. Мельгунова в 30-х годах или русских знакомцев Фарнгагена фон Энзе в Берлине в 30—40 годы. Известно, какую роль в изучении русского языка П. Мериме сыграли его многочисленные русские друзья: для его деятельности в качестве переводчика с русского немалое значение имела помощь, оказанная ему С. А. Соболевским или В. И. Дубенской-Лагрене. Во второй половине XIX в. аналогичную роль в различных странах Западной Европы играла русская революционная эмиграция.

Этот бытовой факт нельзя не учесть, анализируя причины довольно широкого распространения русской лексики в культурном обиходе многих зарубежных стран. Еще в 20-х годах во французских театрах можно было безнаказанно ставить пьесы, в которые вставлялись фразы, состоящие из подбора ничего не значащих звуков, преподносящихся в качестве образцов русской речи. В одной из таких французских пьес русский генерал, обращаясь к казакам, произносит следующую фразу, выполняющую функцию «русского языка»: «„Brik neu roll dinks afskir!“ И казаки делают вид, что его поняли, и немедленно уходят со сцены» [76] <sup>13</sup>.

Вскоре, однако, положение резко изменилось. Довольно значительное количество русских слов, большею частью с отчетливым пониманием их смысла, можно найти в сочинениях и письмах Ламартина, Гюго, А. де Виньи, Сент-Бёва, не говоря уже о тех писателях, которые побывали в России или жили здесь и успели в той или иной степени познакомиться с русским языком. Слова «clèbe» (хлеб), «khout», «knez» вместо «prince», «bojar» (не говоря об общеупотребительном во Франции с 1815 г. слове «cosaque») встречаются в сочинениях Шатобриана. Альфред де Виньи, сталкивавшийся с русскими людьми с детства (в парижском пансионе его товарищами являлись будущие декабристы Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы) и до конца жизни интересовавшийся Россией и ее общественно-политической жизнью, знал и употреблял русских слов много больше. В набросках его неосуществленных поэм (главным образом, из жизни политических ссыльных в России) мы находим: *verst*, *izba*, *doroga*, (=une route), *kibitka*, *iamschik*). Ламартин знает, что «fourashka» — *ça veut dire en russe la casquette militaire* и что приветствие *bonjour, mes enfants* переводится «*strastvouité rebeti en russe*». Гюго знает слова: «друг» — «ami», «песнь» — «chanson» и т. д.

<sup>13</sup> В рассказе «Путешественник», напечатанном в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» (1820, № 6, с. 269—289), петербургский житель рассказывает, что он видел в Париже пьесу, в которой «русский офицер» произносил следующие слова: «„Игема, глебонинь попоиска рюзкоф“. Сосед-француз просил его перевести эти слова на французский язык. Русский сказал, что это ничего не значит, что слова эти выдуманы автором пьесы. Однако ему не поверили, а другой француз заявил: „Я знаком с сочинителем комедии. Он делал последнюю кампанию, был в Москве и говорит сам очень хорошо по-русски.“ „— О чем тут спорить? Это точно по-русски, — подхватил мой сосед: попоиска глебонинь настоящие русские слова; я сам тысячу раз слышал их от казаков, когда русские были в Париже“».

Любопытно, что Бальзак остался в общем чуждым русской речи, хотя он и прожил некоторое время в России, «русский так и не усвоил»; он остался в пределах дорожной «практики», удержав на некоторое время лишь несколько «ходких русских слов: „бричка“, „кибитка“, „подорожная“, „почтовая карета“, „мужик“, „огня“, „какой“, „другой“, „кнут“ и пр.» [77]. Художественной спецификой русской речи, разговорной или литературной, Бальзак не заинтересовался вовсе. Некоторые из упомянутых слов, однако, постепенно входили и во французскую речь. Так, слова «кибитка» вместе с «тарантасом» и «степью» уже в 30-х годах большею частью оставались без перевода во всех европейских языках. Сент-Бёв с похвалой цитировал, например, французский перевод пушкинского стихотворения «Прощание с калмычкой», где слово «kibitka» встречается дважды:

.... tout coin lui sert,  
Salon doré, soyeuse loge,  
Ou la kibitka du désert...

Что касается слова «тарантас», то удержанию его на некоторое время в европейских словарях содействовала не только русская почтово-дорожная практика, но и переводы одноименного произведения гр. В. А. Соллогуба: в Англии слово «тарантас» несколько раз употребил Диккенс, а Вильям Споттисвуд книгу, рассказывавшую о его поездке в Россию, озаглавил: «Tarantasse journey» (1868).

Для некоторых писателей, преимущественно французских, отдельные русские слова становились в это время предметом эстетического любования как экзотические раритеты. Таково было, например, отношение к русскому языку Т. Готье. Одно из его стихотворений, внушенное акварелью Бланшера, изображающей деревенскую девушку среди розовых кустов, включает в себя и русское обиходное выражение. Зритель этой понравившейся ему акварели, взглянув на изображение девушки,

.... le nomme Maya;  
Timide, elle sourit sur un thrène exposée  
Et chacun en passant lui dit: Doucha maia,

что значит, как это объяснено в примечании: «Ame de mon âme, en russe» [78—79]. То же эстетическое любование и щегольство русскими словами мы находим у английского поэта Роб. Браунинга в его поэме «Ivan Ivanovich» о русском деревенском плотнике [80]<sup>14</sup>, у американца Лонгфелло в его сборнике «Kéramos and other poems» (1878)<sup>15</sup>. Любопытно признание Лонгфелло относительно его юности: «Я приехал было учиться по-русски у одного итальянца, жившего прежде в Москве, но после нескольких уроков учитель этот сознался, что больше преподавать не может. Я догадываюсь, что он сам имел о русском языке весьма смутное понятие» [83].

Никто из указанных выше писателей русского языка не знал, и приведенные примеры иллюстрируют лишь возникновение в разных странах известной «моды» на русский язык, известного тяготения к его овладению, приводившего, в свою очередь, к некоторым намеренным внешним эффектам, но оставшегося нереализованным, несуществленным.

Наряду с этим поверхностным интересом, который сам был одним из следствий гораздо более глубоких и серьезных причин, мы имеем большое количество свидетельств относительно основательных, многолетних упорных изучений русского языка, предпринятых прежде всего для получения возможности чтения в подлинниках произведений русских писателей и вслед за тем также русской научной литературы.

<sup>14</sup> Э. Бердо приводит пояснения к некоторым русским словам, включенным Браунингом в его поэму и оставленным без перевода (verst, droug, rope, romeshik и др.). См. [81].

<sup>15</sup> Лонгфелло заимствовал русские слова из английского перевода русской песни, сделанного Рольстоном (см. [82]).

Известно, что Проспер Мери́ме начал учиться русскому языку ради Пушкина, Ксавье Мармье — для того, чтобы стать переводчиком Гоголя. В Германии много содействовала первоначальному увлечению русским языком книга Кёнига «Русские литературные очерки» (1839), в которой впервые на немецком языке дана была характеристика русской реалистической литературной школы с отчетливым пониманием значения творчества Пушкина и ранней оценкой Гоголя. «Многие писатели Германии с тех пор принялись за русский язык, — и Фарнгагена, в Берлине, я застал за тремя томами нового издания Пушкина», — сообщал русский путешественник в «Отечественные записки» [84]. Н. А. Мельгунов, немало содействовавший появлению книги Кёнига, сообщал, что она «в первый раз раскрыла богатства русской словесности, которых до того никто и не подозревал» и прибавлял: «Нашлись любители, даже между дамами, особливо в Берлине, которые тотчас же принялись за изучение русского языка». И далее: «Одним из самых разительных тому примеров может служить Г. Фарнгаген фон Энзе, известный немецкий литератор. Принявшись, вскоре после появления Кёниговой книги, за изучение русского языка, он, с помощью одного молодого нашего ученого, через 6 месяцев достиг того, что свободно стал понимать Пушкина. В июле 1838 года мой знакомый писал мне из Берлина следующее: „Фарнгагена я застал за чтением Пушкина... Пушкина понимает он очень свободно и читает его с наслаждением“» [85]. Фарнгаген писал о Пушкина и Гоголе, сделался первым немецким переводчиком Лермонтова. В десятилетном издании его дневника, который он исправно вел в течение нескольких десятилетий, разбросано множество записей о русском языке, наблюдений за его особенностями, идиомами. «Как великолепен русский язык», — замечает Фарнгаген в 1851 г., т. е. после десятилетнего периода его изучения. «Охота и усердие мое несколько не ослабли, — пишет он однажды П. А. Вяземскому: — я люблю ваш язык, и с каждым днем более люблюсь вашими поэтами» [86]. Недаром тот же Вяземский писал о Фарнгагене:

Любил он нашу речь и, поздний ученик,  
Он в трудности ее и в таинства проник,  
Он понял русского стиха размер и плавность;  
Он Пушкина любил и пыл и своенравность... [87].

У французского литератора Ксавье Мармье интерес к русскому языку возник во Франции в середине 30-х годов, еще в годы его юности. В одном из писем 1834 г. к своему другу Вейсу он заявлял о готовности приступить к изучению русского языка, «столь своеобразного и отличного от тех, которые я знаю», а в 1843 г. Мармье писал: «Я до сих пор помню очарование, испытанное мною тогда, когда я начал изучение этого языка... Всякий раз после того, как я переводил несколько строк из Державина или Пушкина, погруженный в мечты, я выходил на улицы, заставляя звучать в моих ушах сладчайшие слова, которым я обучался, и это была для меня пленительная музыка» [88, 89]. Мармье потом много переводил с русского языка Пушкина, Гоголя, Герцена и до конца своих дней читал русские книги: памятником этих увлечений осталась большая русская библиотека, завещанная им муниципалитету одного из провинциальных городов Франции.

Аналогичным был путь Проспера Мери́ме. Приступив к занятиям русским языком в 1847 г., Мери́ме признавался в одном из своих писем: «Мне кажется, что мне будет очень трудно научиться когда-либо читать столь странные буквы, а чтобы произносить их, пришлось бы, я в этом не сомневаюсь, произвести некоторую операцию в горле». И в последующих письмах Мери́ме к той же корреспондентке встречаются жалобы на затруднения, с которыми ему приходилось бороться, например, на попадавшиеся ему русские «слова удивительной длины, которых я не нахожу в словаре». Тем не менее Мери́ме влекло к русскому языку настойчивое стремление читать русских писателей в оригиналах, и он не только сумел, в конце концов, победить все трудности, но понять и оценить его достоин-

ства. В 1869 г. Мериме писал Л. Стапферу, что русский «это прекраснейший из всех европейских языков, не исключая и греческого. Он гораздо богаче немецкого и отличается необычайной ясностью». С этим отзывом можно сравнить то, что Мериме писал о русском языке в своей статье о Гоголе: «Русский язык — самый богатый, насколько могу судить, из всех европейских языков: он как будто создан для выражения тончайших оттенков. При его необыкновенной сжатости и, вместе с тем, ясности ему достаточно одного слова для соединения многих мыслей, которые на других языках потребовали бы целой фразы. Французский язык, подкрепленный греческим и латинским, призвавший к себе на помощь все свои простонародные наречия, язык Рабле, наконец, может дать только понятие об этой гибкости, об этой силе» (*Mérimée P. Études de littérature russe*. Т. II. Nicolas Gogol... Paris, 1932, p. 5).

Количество людей, специально изучавших русский язык ради русской литературы, непрерывно возрастало во всех странах. В. П. Боткин, говоря о поездке своей в Лондон в 1859 г., рассказывал об одном из таких английских энтузиастов. «Этот Шоу-Лефевр замечателен для нас, русских, тем, что недавно, — ему уже лет 60, — один и безо всякого учителя выучился по-русски и хотя говорить не может, но читает русские книги...; у него есть маленькая русская библиотека».

В 50-х годах самостоятельно по им самим изобретенному и довольно сложному способу в Лондоне выучился русскому языку Вильям Рольстон, ставший в последующие десятилетия неутомимым пропагандистом русской литературы в Англии, переводчиком Крылова, Тургенева, русских народных песен, сказок, былин [90]. Известное заявление, сделанное Мэтью Арнольдом в его статье о Толстом по поводу заслуженной известности, которой пользуется русский роман в странах Западной Европы, — «если новые литературные произведения поддержат и упрочат эту славу — нам всем придется изучать русский язык» [91], — было уже несколько запоздалым для самой Англии; здесь его уже изучали и одиночками, и в особых клубах, и в литературных объединениях; в 80-е годы английские журналы сообщали, например, об одной англичанке, выучившей русский язык для того, чтобы читать произведения Салтыкова-Щедрина.

П. Л. Кустодиев, живший в Испании при русском посольстве во время общественного подъема 60-х годов в этой стране, сообщил в одном из своих писем из Мадрида: «Здесьнее учебное общество Атений, где я состою членом, пригласило меня на эту зиму (1869) читать лекции, говоря громко, а попросту — учить русскому языку с его публичной кафедры... Здесь все народ солидный. Между моими учениками будут: один экс-министр, профессора университета и др.» [92]. Аналогичные публичные курсы русского языка общественного характера устраивались тогда в разных концах Европы, не говоря уже о том, что русский язык устанавливался как предмет преподавания в различных университетах — в Копенгагене<sup>16</sup>, Париже, Цюрихе. В Париже преподавался он в те годы не только в Сорбонне, но и в «Политехнической ассоциации», в «Институте Рюди» и т. д. Один из преподавателей русского языка в этих учреждениях, Е. П. Семенов, характеризуя своих учеников, подробнее останавливается на одном, Ф. Ренбо, способном лингвисте, хорошо знавшем языки английский и испанский. Основным поводом для занятий его русским языком было, оказывается, то, что «он хотел читать в оригинале и Толстого, Достоевского, Тургенева и других русских писателей» [93].

<sup>16</sup> Копенгагенский университет опередил не только скандинавские, но и многие западноевропейские университеты, основав доцентуру по славистике еще в 1859 г. Чтение лекций поручено было Каспару Вильгельму Смигу (1811—1881). Из таблиц занятий Смита, приведенных Н. Тиандером (Датско-русские исследования. Вып. II. СПб, 1913, с. 3—4), видно, что в конце 60-х — начале 70-х годов русский язык пользовался особым вниманием у студентов. В 1869 г. Смит издал датский перевод русской летописи; уже после его смерти вышел его труд по истории русской литературы (см.: Сб. ОРЯС АН, 1883, т. XXXI, с. X); любопытно, что в том же 1882 г. датский «пионер русской поэзии» Тор Ланге издал свою книгу переводов с непонятным для датского читателя русским заглавием «Wespa».

Такая же картина наблюдалась и в Германии. Из множества подтверждающих это примеров напомним хотя бы один — из биографии писателя Юлиуса Бирбаума. Еще будучи в гимназии, Бирбаум упивался Тургеневым и Гоголем, и по окончании школы его потянуло туда, где он мог встретить русских. Объясняя в одном из своих биографических набросков, почему он решил поселиться в Швейцарии, Бирбаум писал: «Меня привлекал демократизм этой страны, так как я был, конечно, республиканцем. Вместе с тем, меня тянуло к Альпам, к русским студентам и студенткам Цюриха. Под впечатлением прочитанного мною „Преступления и наказания“ Достоевского я твердо решил изучить русский язык» [94].

В статье Энгельса «Эмигрантская литература», написанной в 1874—75 гг., есть известные слова, которые приобретают для нас двойной интерес,— и по своему существу и как ценное историческое свидетельство. «Знание русского языка,— пишет Энгельс,— языка, который всемирно заслуживает изучения и сам по себе, как один из самых сильных и самых богатых из живых языков, и ради раскрываемой им литературы,— теперь уж не такая редкость, по крайней мере, среди немецких социал-демократов» [95]. В свете всех вышеприведенных данных слова Энгельса становятся особенно конкретными, а ясность даваемой в них формулировки представляется особенно отчетливой. В самом деле, Энгельс не только дает здесь ценную для нас характеристику русского языка, но и указывает на причины, обеспечившие интерес к русскому языку, и указывает на степень его распространенности, последнее,— с некоторой осторожностью. По мнению Энгельса, русский язык заслуживает изучения и «сам по себе», и «ради раскрываемой им литературы». Все приведенные выше примеры говорят о том, что западноевропейский интерес к русскому языку действительно определялся указанными Энгельсом причинами, тесно между собой связанными. Это был интерес к одному из «сильных и богатых» живых языков, раскрывавших одну из богатых и сильных и влиятельных литератур; она была богата и сильна и потому, что русский язык служил ее орудием, и сам он был развит и силен потому, что в состоянии был раскрывать ее богатства. В словах Энгельса звучит еще некоторая неуверенность относительно широты распространения русского языка, что и понятно, если иметь в виду, что его свидетельство относится к 1874 г., т. е. к тому времени, когда этот процесс еще развивался; Энгельс, однако, уверенно говорит о том, что знание русского языка не является редкостью среди немецких деятелей рабочего движения, и это свидетельство действительно легко подтвердить множеством примеров. Слова Энгельса можно понимать и в том смысле, что именно передовой характер русского литературного движения в XIX в. обеспечил внимание к русскому языку, сделал его как бы обязательным для изучения.

## 5

Что дело обстояло именно так, лучше всего свидетельствуют занятия русским языком самого Энгельса, и, вслед за ним, Маркса. Долговременный и глубокий интерес К. Маркса и Ф. Энгельса к русскому языку общеизвестен: он многократно засвидетельствован в их собственных письмах и высказываниях, в воспоминаниях их современников, в работах об их жизни и деятельности. В. И. Ленин уже вскоре после кончины Энгельса писал, что «Маркс и Энгельс, оба знавшие русский язык и читавшие русские книги, живо интересовались Россией, с сочувствием следили за русским революционным движением и поддерживали сношения с русскими революционерами» [96]. Известно также, что Энгельс, обладавший, как и Маркс, выдающимися лингвистическими способностями, изучил русский язык ранее своего друга — еще в начале 50-х годов — и что с этих пор, в течение более чем тридцати лет, он постоянно совершенствовал свои познания и навыки в русской книжной, письменной речи. Вслед за Энгельсом и Маркс изучил русский язык настолько, что мог свободно следить за новинками русской научной и художественной литературы, которые посылали ему его почитатели и корреспонденты.

Первые упоминания о занятиях Энгельса русским языком встречаются

в его переписке с Марксом в начале 1851 г. [97]. Эти занятия Энгельс не оставил и позже, и это подтверждает с полной ясностью, что он рассматривал их не как случайную прихоть, а как реализацию вполне продуманной программы. 18 марта 1852 г. Энгельс писал Марксу: «Последние две недели я старательно зубрил русский язык и теперь почти покончил с грамматикой, еще 2—3 месяца дадут мне необходимый запас слов...» [98, с. 30], а в письме от 16 апреля того же года Энгельс сообщал своему другу Иосифу Вейдемейеру, что он решился «в течение двух или трех недель... отдавать все свое время русскому и санскритскому языкам...» [99]. Год спустя Энгельс продолжал трудолюбиво изучать русский язык и по собственной строгой оценке «заметно усовершенствовал свои знания славянских языков...»: «К концу года буду более или менее понимать по-русски и по южнославянски», — признавался Энгельс тому же Вейдемейеру в письме от 12 апреля 1853 г. [100]. Только через три года после начала своих занятий русским языком Энгельс в письме к редактору английской газеты «Daily News» решился, с чувством глубокого удовлетворения, отметить свое «хорошее знакомство с большинством европейских языков, включая русский...» (письмо от 30 марта 1854 г.) [101]. По-видимому, именно к этому времени относится замысел Энгельса — изучить русский язык на широком славянском фоне, во всех его исторических родственных связях. Всегда глубоко интересуясь научными проблемами языкознания, Энгельс, однако, при изучении отдельных языков, в том числе и славянских, исходил прежде всего из практических потребностей революционной борьбы. В уже цитированном письме к Марксу (от 18 марта 1852 г.) Энгельс прямо объяснил, почему он принял за изучение славянских языков, русского в первую очередь: «Собственно говоря, Бакунин добился кое-чего только благодаря тому, что ни один человек не знал русского языка» [98, с. 31]. Впоследствии у Энгельса бывали перерывы в пользовании русским языком, но он всегда старался обновить свои знания его. Так, в 1869 г., отвечая на дружеские упреки Маркса, который, в свою очередь, «начал изучать *русский язык*...» (письмо Маркса к Кугельману от 29 ноября 1869 г.) [102] и занялся этим «пылом и жаром» [103], Энгельс писал: «Ошибку в русском языке я действительно сделал. Я порядком забыл русское склонение» [104]. Допущенный пробел заставил Энгельса тотчас же принять решение «снова немного заняться русским языком» [105], и он, несомненно, осуществил это намерение. Периодически «освежать» знания русской книжной речи Энгельсу помогали получаемые им новые русские издания. Так, в 1885 г. т. е. через тридцать четыре года после начала своих занятий русским языком, Энгельс обновил свои знания, читая работы Плеханова. Характерное признание Энгельс сделал своей русской корреспондентке В. Засулич в 1885 г.: «...Я читаю по-русски довольно легко, когда позанимаюсь им в течение недели...» [106]. Все приведенные данные свидетельствуют о том, что, являясь превосходным знатоком ряда древних и новых языков, Энгельс основательно усвоил также и русский язык, на котором он свободно читал, а в случае необходимости и писал. В своих сравнительных оценках языков Энгельс является очень компетентным судьей. Более чем кто-либо другой он был вполне подготовлен к тому, чтобы дать им отчетливые и точные характеристики. Тем интереснее для нас те итоговые характеристики русского языка, к которым Энгельс пришел после длительного периода его изучения. Мы уже приводили слова Энгельса, относящиеся к середине 70-х годов о русском языке как об одном «из самых сильных и самых богатых языков». А в 1884 г. Энгельс писал вновь: «Как красив русский язык! Все преимущества немецкого без его ужасной грубости» [107]. Энгельс изучал русский язык также из-за раскрываемой им литературы: в начале 50-х годов, изучив «Российскую антологию» Бауринга, он долго и чрезвычайно внимательно трудился над поэтическими текстами Пушкина: сохранились его словарные записки к «Евгению Онегину» и «Медному всаднику»<sup>17</sup>. Не подлежит сомнению,

<sup>17</sup> Подробнее об этом см. [108].

что интересу Энгельса к русскому языку и общественной жизни России сильно способствовали также лондонские издания Герцена.

По изданиям Герцена, и в частности по его книге «Былое и думы», изучал русский язык и Маркс. Зигфриду Мейеру, в письме от 21 января 1871 г. Маркс сообщал, что его занятия русским языком были вызваны «тем, что мне прислали из Петербурга представляющую весьма значительный интерес книгу Флеровского „Положение рабочего класса (в особенности крестьян) в России“ и что я хотел познакомиться также с экономическими (превосходными) работами Чернышевского...» [109, с. 147]<sup>18</sup>. В последующие годы Маркс уже настолько овладел русским языком, что читал русские книги, чаще всего не прибегая к помощи словаря или пользуясь им в редких случаях, например, при чтении произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина, действительно нередко являвшихся для него трудными по своей лексике и своим фразеологическим сочетаниям<sup>19</sup>. О хорошем знании Марксом русского языка дают ясное представление опубликованные впервые по рукописям конспекты и выписки, сделанные им во второй половине 70-х годов, — Чернышевского, Янсона, Энгельгардта и др.

Пример Энгельса и Маркса очень поучителен. Весьма поучителен был он для многих из их западноевропейских последователей, почитателей, единомышленников. Знание русского языка стало необходимостью. Без него нельзя было обходиться ни ученым, ни общественным деятелям, ни журналистам, ни писателям — и целый ряд заявлений по этому поводу идет непрерывно в европейской печати, заметно повышаясь в отдельные периоды, например, в 1905 г. Но это уже была пора, когда мировое значение получили статьи В. И. Ленина, когда новый интерес к русскому художественному слову по всему миру обновил такой его великий мастер, как М. Горький. И все же это были только подготовительные этапы к всемирной славе и распространенности, которую русский язык получил после Великой Октябрьской социалистической революции.

#### ЛИТЕРАТУРА

50. *Аделунг Ф.* Барон Мейерберг и путешествие его по России. СПб., 1827, с. 95, 103.
51. *Алексеев М. П.* Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей. Т. I. Иркутск, 1932, с. 294—302; 2-е изд. Иркутск, 1941, с. 301—313.
52. *Лебедев Д. М.* География в России XVII века. М. — Л., 1949.
53. *Васильев А.* Житие св. Григения, епископа Омиритского. — Византийский временник, XIV. (Вып. 1) (1907). СПб., 1908, с. 36.
54. *Алексеев М. П.* Эпизоды из русской истории в «Опытах» Монтеня. — В кн.: Романо-германская филология. Сборник статей в честь академика В. Ф. Шишмарева. [Л.], 1957.
55. *Mohrenschild D. S.* Russia in the intellectual life of eighteenth century France. New York, 1936.
56. *Чучмарев В. И.* Французские энциклопедисты XVIII века об успехах развития русской культуры. — ВФ, 1951, № 6.
57. *Алексеев М. П.* Д. Дидро и русские писатели его времени. — В кн.: XVIII век. Вып. 3. М. — Л., 1958.
58. *Elements de la langue russe.* СПб., 1768.
59. *Балицкий И. И.* Материалы для истории славянского языкознания. Киев, 1876.
60. *Булич С. К.* История языкознания в России. Т. I. СПб., 1904, с. 326—327.
61. Французский Целларнус. М., 1769.
62. *Сопиков В. С.* Опыт российской библиографии. Ред., примеч., доп. и указатель В. Н. Рогожина. Ч. II. № 5929. СПб., 1904.
63. *Сопиков В. С.* Опыт российской библиографии. Ч. IV. № 7846.
64. *Hunt H. J.* Diderot as grammarian-philosopher. — The Modern Language Review, 1938, april.
65. *Thomas A.* Oeuvres. V. II. Amsterdam et Paris, 1773, p. 370—376.
66. *Swinton A.* Travels into Norway, Denmark and Russia. London, 1792, p. 127.
67. *Kaiser B.* Über Beziehungen der deutschen und russischen Literatur im 19. Jahrhundert. Berlin, 1948, S. 34.
68. *Jiráť V.* Slavisches in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen. — Xenia Pragensia. Prag, 1929, S. 160—161.

<sup>18</sup> Ср. [140].

<sup>19</sup> На полях книг Салтыкова-Щедрина, хранившихся в библиотеке Маркса, еще встречаются переводы непонятых им русских слов (например, «казовый», «потрафил», «голоконый», «острец» и т. д.), но этих слов немного. По собственному признанию Маркса, уже в начале 70-х годов он стал читать по-русски «довольно бегло» [109, с. 147].

69. *Zeydel E. H. J. Chr. Schwab on the relative merits of the European Languages.*—*Philological quarterly*, 1924, v. III, p. 304.
70. *Берков П. [Н.]. Изучение русской литературы иностранцами в XVIII веке.*— В кн.: *Язык и литература*. Т. V. Л., 1930, с. 132.
71. *Мазон А. «Князь Элим».*— В кн.: *Литературное наследство*, 1937, т. 31—32, с. 391.
72. *Мазон А. Deux russes écrivains français.* Paris, 1964, p. 186.
73. *Дурьлин С. Русские писатели у Гете в Веймаре.* Гл. VI. Люди 14 декабря и Гете. 1. Кюхельбекер и Гете.— В кн.: *Литературное наследство*, 1932, № 4—6, с. 383—384.
74. *Алексеев М. П. Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе.*— В кн.: *Тр. отдела новой русской литературы*. Кн. 1. Л., 1948.
75. *Flaubert G. Lettres inédites à Tourguéneff.* Monaco, 1946, p. 3.
76. *Fongerey M. de. Les soirées de Neuilly. Esquisses dramatiques et historiques.* Paris, 1827, p. 54.
77. *Гроссман Л. Бальзак в России.*— В кн.: *Литературное наследство*, 1937, т. 31—32, с. 412—413.
78. *Spoelberch de Lovenjoul. Histoire des oeuvres de T. Gautier.* T. II. Paris, 1887, p. 551.
79. *Алексеев М. П. Заметки о русских словах у французских литераторов XIX в.*— В кн.: *Общее и романское языковедение*. [МГУ], 1972.
80. *Berdoe Edward. The Browning Cyclopaedia.* London, 1897, p. 228.
81. *Алексеев М. П. Die Quellen zum Idyll «Ivan Ivanovitch» von Rob. Browning.*— *Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven*, 1931, Bd. 6, Hf. 4.
82. *Лавров П. Л. Этюды о западной литературе.* Пр., 1923, с. 173—174.
83. *Арсеньева Ю. В. Воспоминания о Лонгфелло.*— *Московские ведомости*, 1882, № 76, с. 5.
84. *Шевырев С. Дорожные эскизы на пути из Франкфурта в Берлин.*— *Отечественные записки*, 1839, т. III, с. 110—111.
85. [Мельгунов Н. А.] *История одной книги.* М., 1839, с. 9, 10.
86. *Русский архив*, 1868, с. 508—509.
87. *Вяземский П. А. В дороге и дома.* М., 1862, с. 103.
88. *Mélanges, publiés en l'honneur de M. Paul Boyer.* Paris, 1925, p. 290.
89. *Marmier X. Lettres sur la Russie.* V. II. Paris, 1843, p. 172—173.
90. *Alexeyev M. P. William Ralston and Russian writers of later nineteenth century.*— *Oxford slavonic papers*, 1964, v. 11, p. 83—93.
91. *Arnold M. Essays in criticism.* Leipzig, 1892, p. 227.
92. *Алексеев М. П. Очерки истории испано-русских литературных отношений XVII—XIX вв.* Л., 1964, с. 207—214.
93. *Семенов Е. П. В стране изгнания (Из записной книжки корреспондента).* СПб., 1912, с. 13.
94. *Русская мысль*, 1910, № 3, с. 156.
95. *Энгельс Ф. Эмигрантская литература.*— *Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.* 2-е изд., т. 18, с. 526.
96. *Ленин В. И. Фридрих Энгельс.*— *Полн. собр. соч.*, т. 2, с. 13.
97. *Энгельс — Марксу*, 29 января [1851 г.] — *Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.* 2-е изд., т. 27, с. 159.
98. *Энгельс — Марксу*, 18 марта 1852 г.—*Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.* 2-е изд., т. 28.
99. *Энгельс — И. Вейдемейеру*, 16 апреля 1852 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.* 2-е изд., т. 28, с. 432—433.
100. *Энгельс — И. Вейдемейеру*, 12 апреля 1853 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.* 2-е изд., т. 28, с. 486.
101. *Энгельс — Редактору «Daily News» г. Дж. Линкольну*, 30 марта 1854 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.* 2-е изд., т. 28, с. 508—509.
102. *Маркс — Л. Кугельману*, 29 ноября 1869 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.* 2-е изд., т. 32, с. 530.
103. *Женни Маркс — Фридриху Энгельсу*, [около 17 января 1870 г.] — *Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.* 2-е изд., т. 32, с. 591.
104. *Энгельс — Марксу*, 3 марта 1869 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.* 2-е изд., т. 32, с. 215.
105. *Энгельс — Марксу*, 24 октября 1869 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.* 2-е изд., т. 32, с. 304.
106. *Письма Ф. Энгельса к разным лицам (апрель 1883 — декабрь 1887).* Вере Ивановне Засулич, 23 апреля 1885 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.* 2-е изд., т. 36, с. 259.
107. *Ф. Энгельс — В. И. Засулич*, 6 марта 1884 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.* 2-е изд., т. 36, с. 106.
108. *Алексеев М. П. Словарные записи Ф. Энгельса к «Евгению Онегину» и «Медному всаднику».*— В кн.: *Пушкин. Исследования и материалы.* Тр. III Всесоюзной Пушкинской конференции. М.— Л., 1953.
109. *Маркс — Э. Мейеру*, 21 января 1871.— *Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.* 2-е изд., т. 33.
110. *Подоров Г. Экономические воззрения В. В. Берви-Флеровского.* М., 1952, с. 106—107.